

## А. З. МАНФРЕД

### МОЛОДОЙ РУССО\*

Жан Жак шел в дом госпожи де Варанс в Аннеси со смутным ощущением тревоги и надежд. Он знал, что возвращается, не оправдав ее ожиданий,— бедным, нищим, ни в чем не преуспевшим, ничего не добившимся. Он знал, как это ее огорчит. Но после пережитого, после всех скитаний, передряг, неудач он хотел видеть ту, которую, и мысленно обращаясь к ней, называл «маменькой». Ему было необходимо у ее ног перевести дыхание, хоть не надолго, на день, на час вздохнуть свободно. В «Исповеди», 30 лет спустя, он написал слова, в правдивости которых нельзя усомниться: «Во всем этом огромном мире я видел только ее одну; я не мог бы жить, если бы она отвернулась от меня»<sup>1</sup>. Может быть, это было первое, не осознанное до конца предчувствие своего будущего одиночества в населенном шумными людьми мире. Дом в Аннеси стал для него — без каких-либо разумно объяснимых прав — единственным пристанищем во всей вселенной, где он мог, не оглядываясь по сторонам, дышать легко. Так на многие годы судьба Жан Жака оказалась связанной с госпожой де Варанс.

В «Исповеди» Руссо рассказал о своей жизни в доме госпожи де Варанс и о странном, чтобы не сказать иначе, союзе с нею с такой откровенностью и беспощадностью к самому себе, которая потрясла его читателей и почитателей. Некоторые из них были склонны даже подозревать, что опубликованная автобиография — подделка, фальшивка, сочиненная врагами Руссо, чтобы очернить в глазах современников светлый образ «гражданина Женевской республики».

Как известно, первые годы — 1730—1732 — Жан Жак большую часть времени провел вне дома госпожи де Варанс, но всегда под ее добрым и заботливым, истинно материнским наблюдением. Первоначально ее стараниями он был помещен в семинарию лазаристов<sup>2</sup>, управляемую ректором Гро, но, несмотря на усердие преподавателей, обнаружил столь мало способностей и склонностей к богословским наукам, что курс так и остался незавершенным. Кюре из Жан Жака не получился.

Госпожа де Варанс сама немного — любительски — музиковала и, познакомив своего юного ученика с несколькими музыкальными пьесами, была поражена, сколь быстро он преуспел в этом сложном искусстве. С отроческих лет, наверное даже с детства, обнаружилась исключительная музыкальная одаренность Жан Жака. У него был несомненный дар стихийного музыкального творчества; он сочинял с удивительной легкостью, почти без усилий. Музыка была для него потребностью, необходимостью.

Заслуга госпожи де Варанс была в том, что она верно разгадала призвание или, вернее, одно из призваний ее ученика. Во всех подготовленных ею с таким вниманием, с такой предусмотрительностью начинаниях он терпел до сих пор неудачи. Но она не теряла в него веры; она чувствовала его одаренность, талантливость. По ее настоянию он начал заниматься в музыкальной и певческой школе, возглавлявшейся соборным регентом — неким Леметром, веселым малым, считавшим себя, может быть даже с известным основанием, композитором.

\* Окончание. Начало см. в № 4 за 1974 г.

<sup>1</sup> J. J. Rousseau. *Les confessions* (далее — «Con.»), t. I. Paris, 1956, p. 123.

<sup>2</sup> *Лазаристы* — одна из католических школ, подготавливавших миссионеров.

На сей раз надежды госпожи де Варанс полностью оправдались. Успехи Жан Жака были неоспоримы. Под руководством Леметра талантливый ученик быстро совершенствовался и в практических занятиях музыкой, и даже в какой-то мере в теории, по крайней мере в тех пределах, которые был способен преподать руководитель школы. Жан Жак обладал почти абсолютным слухом, легко научился игре на клавесине, постиг нотные записи, основы музыкальной теории и вскоре сам стал сочинять и легкие, и более сложные музыкальные сочинения.

В 1730—1731 гг., путешествуя как всегда пешком по городам Швейцарии (Лозанна, Будри, Берн), Жан Жак, из озорства или из осторожности дебютируя под псевдонимом Воссоп де Вильнев, стал выступать в роли композитора и преподавателя музыки. Первые выступления проходили на грани скандала; но постепенно трудности преодолевались. Позже Руссо признавался: «давая уроки музыки, я сам незаметно ей учился»<sup>3</sup>.

В 1732 г., после долгих розысков госпожи де Варанс, уехавшей неожиданно из Аннесси в Париж, а оттуда в Лион, Жан Жак, совершивший по ее следам путешествие пешком через все французское королевство, нашел ее в темном неуютном доме в Шамбери. Он оставался в доме госпожи де Варанс без малого 10 лет...

Как бы ни складывались отношения Руссо с госпожой де Варанс, длительное пребывание в ее доме, вернее в ее обществе, имело для Жан Жака, для формирования его таланта писателя, философа, композитора весьма большое значение. Уже за одно это последующие поколения должны быть благодарны госпоже де Варанс. Как уже было сказано раньше, она была широко образованной и начитанной женщиной, сумевшей угадать в юноше незаурядные способности, может быть даже талант. Она не жалела ни сил, ни времени, чтобы пробудить и развить эти способности и приобщить своего ученика к современному — для XVIII в. — уровню знаний и культуры. В доме была превосходная библиотека; там можно найти было и античных авторов, и современных писателей, в особенности входивших тогда уже в моду литераторов оппозиционного лагеря, тех, кого несколько позже стали именовать представителями «века Просвещения».

В становлении Руссо как литератора, как мыслителя годы, проведенные в доме госпожи де Варанс, были важным этапом. Ее дом, если угодно, школа госпожи де Варанс, стал своего рода вторым университетом Руссо. Первым был, несомненно, тот путь скитаний по деревням, селам, городам, по проселочным дорогам Швейцарии, Италии, Франции, с которого началась его сознательная жизнь.

Здесь снова придется вернуться к вопросу, о котором уже шла речь выше. Что было первичным и основным в идейном формировании Жан Жака Руссо? Едва ли можно сомневаться в том, что первые непосредственные впечатления от прямого соприкосновения с самой жизнью, от многообразных, повседневных форм общения с французским народом имели для Руссо, для складывания его общественно-политических взглядов определяющее, решающее значение.

Для герцога Луи де Сен-Симона, автора знаменитых мемуаров о веке Людовика XIV, для герцога Франсуа де Ларошфуко, прославившего свое имя «Афоризмами и максимами», для Шарля де Секонда Монтескье, барона де ла Бред, творца «Персидских писем» и «Духа Законов», для Франсуа Мари Аруэ-Вольтера, составившего спекуляциями и ловкими сделками с недвижимой собственностью крупное состояние раньше, чем он создал себе литературное имя, для аббата Габриеля Бонно де Мабли, выступавшего с коммунистическими утопиями, для любого из этих знаменитых писателей, корифеев французского Просвещения, критиков старого феодального мира — «народ», о котором они так много и охотно писали, о котором радели, всегда был понятием книжным, отвлеченным. Это было некое собирательное целое, условный термин, которым можно было обозначить какую-то часть третьего сословия; здесь мнения расходились, но для большей части передовых мыслителей XVIII в. собственно народ, т. е. простые люди — крестьяне, ремесленники, городская беднота, те, кого они обозначали чаще всего пренебрежительным выражением «чернь», из понятия «народ» исключались. При всех обстоятельствах «народ», о котором при каждом удобном случае они с готовностью вспоминали, в действительности был им совершенно не известен; они его не знали; деревни, в

<sup>3</sup> «Con.», t. I, p. 175.

которых жили крестьяне, они видели лишь мельком из окон кареты; самое большое, на что они могли опираться в собственном жизненном опыте, это на поведение их лакеев или других слуг.

Для Жан Жака Руссо (с первых его сознательных шагов) народ — это его собственная жизнь; он был сам его частью, неотделим от него. В отличие от его будущих собратьев по литературному цеху, для Жан Жака народ никогда не был книжным или отвлеченным понятием.

Речь, разумеется, идет не о происхождении будущего автора «Эмиля» и «Общественного договора». Когда в свое время, 30 с лишним лет назад, Б. М. Бернардинер в своей во многом интересной книге о Руссо<sup>4</sup> определял его место в литературе как выразителя идеологии мелких ремесленников и кустарей, ссылаясь при этом на то, что Жан Жак был сыном часовщика, это было, несомненно, своего рода проявлением вульгарного социализма. Да не считут нескромностью, если я позволю себе сослаться на то, что еще 10 лет тому назад высказывал свое несогласие с подобного рода точкой зрения<sup>5</sup>.

Когда Руссо в доме госпожи де Варанс начал свой второй цикл чтения (первый был в детстве, когда он хаотично, но жадно и быстро читал все хранившиеся в родительской библиотеке книги), он уже был человеком с определенными, сложившимися взглядами, хорошо понимавшим социальные и нравственные контрасты бедности и богатства. Он знал, что богатые и знатные бездельничают, разъезжают в каретах или проносятся нарядной кавалькадой на дорогих племенных конях, а бедные работают от зари до зари, согнувшись спину, на чужом, барском поле и, вернувшись в свою лачугу, не могут досыта накормить ни свою семью, ни себя.

Эти простые истины, прочно укоренившиеся в сознании молодого Руссо, пришли к нему не со стороны, не из книг, а из собственного жизненного опыта, который, если измерять его годами, хотя и был сравнительно невелик, но зато неоспорим, непререкаем. Именно эта общность, социальное родство с народом, вернее даже сказать неразрывность уз, связующих Жан Жака с народом, понимание его нужд и чаяний, забот и надежд, разделемых юным скитальцем, и составляли основу мировосприятия Руссо, когда он в доме госпожи де Варанс впервые занялся систематическим образованием.

В истории французской общественной мысли (а в значительной мере и европейской) предреволюционного времени, т. е. в условиях еще не поколебленного господства феодально-абсолютистского строя с его сословно-иерархическим жестким членением, Жан Жак Руссо был первым литератором, представлявшим и выражавшим мысли, чувства, чаяния порабощенного и бесправного народа. Следует ли доказывать, что первым быть всегда труднее?

Но для того, чтобы стать выразителем социальных чаяний народа, недостаточно было знать его горести, недуги и стремления. Нужно было еще их осмыслить, понять, найти для них подходящую литературную форму; надо было суметь заставить себя слушать. Важнейшим предварительным условием этого должна была быть определенная степень образованности, начитанности. Без знаний, без знакомства с состоянием наук, естественных и общественных, с достигнутым наукой к середине XVIII в. уровнем, наконец, без приобретения известных литературных навыков, без овладения школой письма Жан Жак не мог стать тем, кем он стал — знаменитым писателем и мыслителем, вошедшим на века в историю мировой литературы.

Само собой разумеется, что ни сам Жан Жак, ни госпожа де Варанс ни в 1732 г., когда Руссо вторично переступил порог ее дома, ни позже, не думали о его будущей литературной деятельности; тем более, что и ему, и опекавшей его доброй женщине полностью были чужды какие-либо мессианские идеи или хотя бы определенные честолюбивые планы. Речь идет об ином.

Как бы ни относиться к госпоже де Варанс, к ее достоинствам и недостаткам (сегодня, 200 с лишним лет спустя, всякое морализование было бы неуместным и даже смешным), нельзя не воздать должного ее проницательности, позволившей ей

<sup>4</sup> Б. М. Бернардинер. Социально-политическая философия Ж. Ж. Руссо. Воронеж, 1940.

<sup>5</sup> А. Манфред. Жан Жак Руссо — предвестник революции. — «Вопросы истории», 1964, № 1.

разглядеть в неотесанном, невоспитанном, неловком пареньке из простонародья талантливого и чрезвычайно восприимчивого ученика. В доме госпожи де Варанс, под ее руководством и при ее непосредственной помощи Жан Жак постиг все то, чего ему не хватало. То был ученик редкой одаренности, ему достаточно было показать лишь начало, направление, по которому следовало идти,—далее он уже шел самостоятельно, продвигаясь семимильными шагами.

Госпожа де Варанс познакомила своего ученика с поэзией. Он с жадностью стал читать и поэтов античности, и классиков — Мольера, Расина, Корнеля, и поэтов более близкого времени, вплоть до знаменитого уже в ту пору Вольтера. Вскоре Руссо и сам стал пробовать свои силы в поэтическом искусстве. Вероятно, вначале это было весьма наивное версификаторство. Но он упорно работал, совершенствовал мастерство, оттачивал стих и вскоре встал на уровень современной ему французской поэзии. Во всяком случае то, что дошло до нас, что было собрано и опубликовано исследователями его творчества, говорит о зрелом, полноценном мастере французской поэзии XVIII столетия.

Главным в самообразовании или образовании под руководством госпожи де Варанс в Аннеси было чтение. Именно в эти годы Жан Жак по существу познал и постиг все наиболее значительное, что было создано французской да и в известной мере мировой литературой и наукой. Поражавшая позднее собеседников удивительная начитанность Руссо была в основном результатом постоянных чтений в доме госпожи де Варанс. Этот чудаковатый молодой человек стал одним из самых образованных людей своего времени.

В «Исповеди» Руссо рассказал, что чтения (в первые годы, во всяком случае) проходили по вечерам в гостионе госпожи де Варанс. Вероятно, первоначально госпожа де Варанс брала на себя добровольно роль наставницы; у нее вообще была склонность к роли благожелательной и благосклонной воспитательницы. Жан Жак перечисляет книги, которые они вместе читали. Он называет Пьера Бейля, Лабрюйера, Ларошфуко, Вольтера, ныне почти забытых авторов, вроде комедиографа Сент-Евремана и др. Но «Исповедь», написанная 30 с лишним лет позже изображаемых событий, как не раз уже справедливо подчеркивалось<sup>6</sup>, хотя бы по одному этому требует к себе сугубо критического отношения. За минувшие десятилетия автор «Исповеди» многое забыл, да и события давно прошедших лет представлялись ему во многом иначе, чем были на самом деле. Это относится, в частности, и к вопросу о круге чтения в Аннеси и Шамбери.

При деятельной натуре баронессы де Варанс, всегда увлеченной какими-то предприятиями и деловыми замыслами (по большей части кончавшимися плачевно), она часто выезжала из дома. С тем большей охотой Жан Жак предавался своему любимому удовольствию — чтению в одиночестве. Из неуютного Шамбери на теплое время года, весну и лето, госпожа де Варанс и Жан Жак уезжали в Шармессан, оставшийся в памяти Руссо благословенным уголком природы. В первое же лето он заболел болезнью, не поддававшейся точному определению и сохранившейся в разных формах — то сильнее, то слабее — на всю жизнь. По-видимому, если употребить термины наших дней, у него было повышенное артериальное давление и ставшее хроническим нарушение сердечных сосудов. Первоначально его уложили надолго в постель и дали понять, что ему не миновать близкой смерти.

Руссо, как мы знаем, не умер, хотя здоровье его и стало действительно хуже. Но временная вынужденная бездеятельность оказалась полезной для умственных занятий. В чтение, которому он отводил теперь еще больше времени, он внес систему. Он занялся основательно философией — штудировал сочинения якобинистов: «Опыт о человеческом разуме» Джона Локка, сочинение Никола Мальбрашса, труды Декарта, Лейбница и др. Затем он занялся специально математикой, геометрией и алгеброй, стал старательно изучать физику и даже начал проводить некоторые физические эксперименты. Однако надежды на быстрый успех, когда Жан Жак пытался с помощью негашеной извести, сернистого мышьяка и водки изготовить симпатические чернила, не оправдались: взболтавшая в бутылки смесь взорвалась и брызнула ему в лицо; в течение

<sup>6</sup> H. de Saussure. Rousseau et ses manuscrits des Confessions. Paris, 1958.

полутора месяцев Руссо был почти слепым. В конце концов зрение восстановилось, но к физическим опытам он стал относиться с гораздо большей осмотрительностью.

В те же годы Руссо изучал астрономию, химию, ботанику, латинский язык, но самыми любимыми его предметами, по собственному признанию, были история и география. Перечтите его «Трактаты», философско-политические сочинения, написанные много позже. Как часто, как легко их автор обращается к фактам истории, аргументирует доводами, почерпнутыми в исторических сочинениях. Это плоды систематических штудий книг по истории, начатых в отрочестве с увлечения Плутархом и продолженных вполне сознательно в счастливые, солнечные дни в Шармессе.

Оказывали ли прочитанные книги какое-то влияние на молодого Руссо? Да, конечно, в этом невозможно сомневаться. Но все-таки нельзя забывать, что то был второй «университет», пройденный им. Все прочитанное не только обогатило его знаниями и дисциплинировало его ум, но и позволило привести в систему все смутно бродившие раньше в его сознании наблюдения, чувства, мысли. Теперь они обретали отчетливую, ясную форму. В нем сложились уже и крепли те убеждения, которые через год-два он сформулирует как приверженность к республике и нежелание склонять голову ни перед «кликой придворной», ни перед могущественными богачами.

Кем же он был, этот молодой Руссо, в глазах знавших его людей? Да, собственно говоря, никем — секретарем или управляющим имением госпожи де Варанс, не лишенным приятности молодым человеком, немного музыкантом, немного клерком; в 25 лет у него не было ни состояния, ни положения. О каком же будущем может идти речь? А между тем во Франции в это время, в 30-е годы XVIII в., уже сформировался один из самых оригинальных и самых сильных ее мыслителей. Руссо называл время, проведенное в доме госпожи де Варанс — в Аннеси, в Шармессе, — самой светлой, самой счастливой порой своей жизни. Но и для Руссо, и для госпожи де Варанс наступило время, когда они поняли, что лучшее — это расстаться. И вот, после сравнительно недолгого пребывания в Лионе, Жан Жак Руссо, музыкант, никем еще не признанный, но полный замыслов и надежд, появляется осенью 1742 г. в Париже. Перед нами снова Жан Жак Руссо в Париже 1742—1743 гг., еще не совершивший ничего великого, еще ничего не создавший, но тем не менее окруженный уважением, почетом, желанный гость в лучших, самых замкнутых салонах интеллигентской знати и высшего света Парижа. Когда Руссо вошел в блещущие нарядным убранством салоны столичного высшего общества, он ничем не походил на тех робких юношей из провинции, очарованных никогда не виданной роскошью и великолепием, о чем они тайно мечтали в своих темных, сырых мансардах. Руссо был беден, но в этом была не слабость его, а сила. Он не хотел быть богатым; вся эта выставленная напоказ роскошь не имела для него никакой цены; он презирал это грязное богатство. Его преимущество перед собеседниками в том же доме госпожи Дюпен — сановными, знаменитыми, богатыми — было в том, что он знал нечто такое, чего не знали они, эти важные, чванливые господа.

Было замечено, что он застенчив, не очень ловок, медлителен в движениях, особенно в ответах, репликах, не находчив. И все-таки этот явно нерасторопный молодой человек с пристальным взглядом внимательных, широко расставленных глаз как-то незаметно заставил относиться к себе с уважением. Он ни перед кем не заискивал, не искал ни богатства, ни карьеры, не напрашивался на беседы, но когда с ним заговаривали, заставляя себя слушать. Видимо, он намеренно избегал говорить что-либо шокирующее или слишком экстравагантное — не хотел привлекать к себе особого внимания. И все-таки все высказываемое им было не похоже на то, к чему привыкли в парижских салонах.

Снисходительно заговаривавшие с Руссо прославленные писатели, королевские сановники с удивлением замечали: этот угловатый простолюдин многое знает, начитан и осведомлен в литературе; они не хотели признаться, что он превосходит их, если не знаниями, то жизненным опытом и начитанностью. Во всяком случае, все признали этого странного музыканта заслуживающим внимания, чем-то непохожим на других. В парижские литературные салоны, в гостиные интеллигентской знати столицы этот безвестный пришелец внес какую-то непривычную и потому привлекающую внимание определенность, может быть, даже жесткую трезвость суждений. Стали замечать, что он не поддакивает собеседнику, редко когда соглашается с ним, что его ответы на

вопросы часто неожиданны. Словом, его речь, манера разговаривать не похожа на обычную легкую, светскую болтовню.

Кто первый это заметил? Баронесса де Безанваль? Маркиза де Бройль? Сама госпожа Дюпен? Установить это невозможно. Но стоило лишь одной из знаменитых дам мимоходом обронить свое суждение, оно очень быстро превращалось в общепринятое мнение: «все говорят», «весь Париж знает». Весь Париж — это и было мнение дам. Итак, «весь Париж» заметил, узнал, признал, что месье Руссо говорит иначе, чем все остальные. К Руссо стали прислушиваться.

Жан Жак Руссо стал обитателем столицы французского королевства в трудное, глухое время в жизни страны. Тысячелетняя монархия явственно шла к упадку; в том нельзя было сомневаться. После бесславного заката века Людовика XIV — «короля солнца» — с каждым новым монархом моральный престиж королевской власти падал все ниже. Но все же сам принцип монархии, институт наследственной королевской власти для большинства французов еще представлялся неоспоримым. В народе — и среди темного, забитого крестьянства, и среди городской бедноты, и в зажиточных кругах буржуазии, и за пределами третьего сословия, в рядах привилегированных — провинциального дворянства, духовенства — еще жила традиционная наивная вера в доброго, справедливого короля.

Когда Людовик XV в 1715 г. официально был провозглашен королем, ему было, как известно, лишь пять лет. Время регентства Филиппа Орлеанского, с его финансово-скандалами, спекуляциями, авантюрами Джона Лоу, разнозданным распутством двора (самого Филиппа, его дочери герцогини Беррийской и соучастников их оргий), всеобщим растлением нравов, афишируемым прожиганием жизни в кутежах и разврате, способствовало популярности будущего монарха. Все надежды недовольных — а сколько их было! — на лучшее, более справедливое время связывались с будущим царствованием...

В октябре 1722 г. Людовик XV был объявлен совершеннолетним и в Реймсе состоялась торжественная церемония коронации нового монарха. Но королю было всего 13 лет, мог ли он в полудетском возрасте удерживать бразды правления? Правительственная власть вновь оказалась в случайных руках. Сначала это был герцог Бурбонский или, вернее, его фаворитка маркиза де При, имевшая неограниченное влияние на герцога, а через него и на все звенья государственного механизма. Дочь крупного финансиста, сохранившая тесные связи с миром денежных тузов, она широко распахнула для них двери правительственныех аппартаментов. Имя герцога Бурбонского прикрывало действительную власть финансовых воротил — Бернара, братьев Пари и других участников сложной и темной игры на меняющемся денежном курсе.

За три года правления герцога Бурбонского маркиза де При и окружавшая ее свора финансовых дельцов и проходимцев сумели довести королевство до состояния остройшего кризиса. Летом 1725 г. всеобщее недовольство, усугубленное непрерывным ростом цен на хлеб и другие продукты потребления<sup>7</sup>, привело к широким народным выступлениям. В июле-августе толпы мастеровых, бедноты из Сен-Антуанского предместья, численностью до 2 тыс. человек, не раз выходили с угрожающими возгласами на площади столицы. Негодующий народ овладел также улицами Руана, Кана, Ренна. Правительству пришлось срочно провести снижение цен на хлеб; одновременно оно двинуло против мятежников вооруженную конницу. В Сен-Антуанском предместье для устрашения были воздвигнуты виселицы; двоих вожаков мятежников повесили<sup>8</sup>.

Репрессиями и частичными уступками народное возмущение было остановлено. Но герцогу Бурбонскому, ввязавшемуся к тому же в длительный и острый конфликт с парламентом, пришлось уступить свое место епископу Фрежюсскому де Флери. Бывший наставник Людовика XV, сохранивший по-прежнему громадное закулисное влияние на своего ученика, епископ, а затем кардинал, он, несмотря на свой крайне преклонный возраст (в 1726 г., когда началось его правление, ему было уже 73 года), сумел крепко взять власть и удерживать ее в своих цепких руках на протяжении 17 лет. С дружеской, сочувственной улыбкой, блуждавшей на тонких губах, с ясным взглядом светлых голубых глаз, вкрадчивый, обходительный, подчеркнуто скромный, всег-

<sup>7</sup> E. La brouss e. *Esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au XVIII siècle*, t. I. Paris, 1933.

<sup>8</sup> B a r b i e r. *Journal historique... du Règne de Louis XV*. Paris, 1857, p. 312—405.

да в черном, этот казавшийся незначительным прелат приобрел огромное влияние в королевстве. Предпочитая всегда оставаться в тени, наносить удары в спину или сбоку, и преимущественно руками других, расчетливый, терпеливый в осуществлении планов своего непомерного честолюбия, он постепенно, шаг за шагом, усиливая свои позиции при дворе.

Первоначально кардинал де Флери считал полезным вести дружбу с герцогом Бурбонским и действительной правительницей Франции маркизой де При. Он сумел завоевать их полное доверие. Общими их стараниями Людовика XV женили не на испанской инфанте, как предполагалось, а на Марии Лещинской, дочери бывшего польского короля Станислава. Флери рассчитывал, что женщина, ставшая так неожиданно королевой Франции, будет послушной исполнительницей его желаний. Через некоторое время он убедился, что новая королева отдает явное предпочтение не ему, а герцогу Бурбонскому.

Осмотрительно, неторопливо, не выдавая никому своих намерений, Флери подготовил и артистически провел мгновенное падение герцога Бурбонского. Его отправили под надзором полиции в Шантый, а маркизу де При — в ее поместье в Нормандии. Если верить Д'Арженсону, молодая женщина, и не подозревавшая, что первая роль в королевстве, которую она с таким увлечением играла, будет так внезапо оборвана, с досады, с горя вскоре покончила с собой<sup>9</sup>. Этот дворцовый переворот был представлен Людовику XV как акт заботы об укреплении его, короля, неограниченной власти. Флери всячески подчеркивал, что отныне страной будет править только монарх. Кардинал разговаривал с королем, низко склоняясь; он всегда оставался смиренным, почтительным исполнителем монаршой воли. Но вскоре многие почувствовали, что, хотя царствует Людовик XV, королевством в действительности правит престарелый кардинал Андре Геркул де Флери.

Престарелый? Сколько людей поплатилось карьерой, состоянием, даже головой за наивный расчет на законы природы. Это высохшее, немощное тело было, казалось, неподвластно времени. То был человек без возраста. Он «разменял» восьмой десяток лет, потом пошел девятый, а кардинал как будто оставался все таким же, не менялся, сохраняя ясность мысли и зоркость взгляда. Он все замечал, все слышал. В беседах с де Флери рискованно было касаться темы возраста. Но если косвенно этот предмет затрагивался, он старался винуть собеседнику, что имеет в запасе еще много десятилетий. Однажды сравнительно молодой, высокопоставленный сановник церкви пришел просить Флери поддержать своего родственника, на что кардинал с уверенностью ответил: «Не беспокойтесь. После вашей смерти я о нем позабочусь». Впрочем, иногда он прикидывался уставшим, дряхлым, болезненным. Но горе тому, кто, доверившись этой кажущейся слабости, начинал строить расчеты, не выдвигая на первое место кардинала. Его ждал мгновенный, чаще всего смертельный удар. Могло казаться, что даже с закрытыми глазами этот дряхлый старик все видит через смежные веки.

В современной французской историографии последних 20—30 лет стараниями французских историков правого направления была предпринята попытка «реабилитировать» Людовика XV, пересмотреть ставшую традиционной резко негативную оценку его деятельности и личности и представить его в совсем ином свете — в роли мудрого, доброго, всеми любимого монарха. Зачинателем этой исторической версии (она имела ясно выраженный тенденциозно-апологетический характер и логически вела к осуждению революции, которая, дескать, не имела под собой почвы) был Пьер Гаксотт. В книге, посвященной Людовику XV и выдержавшей за короткий срок много издааний, Гаксотт утверждал, что «Людовика XV судили на основании одних лишь показаний его противников»<sup>10</sup>. Весьма расширительно толкуя это понятие, пренебрегая свидетельствами современников или опровергая их, он пытался обосновать «величие» короля тем, что тот якобы упрочил силу и сплоченность французского государства. Путь, указанный Гаксоттом, был охотно продолжен Пьером Ляфю, Жаком Левроном и в значительной мере Роланом Мунье<sup>11</sup>. «Реабилитация» Людовика XV неизбежно

<sup>9</sup> «Mémoires du marquis d'Argenson...». Paris, 1825, p. 203.

<sup>10</sup> P. Gaxotte. Le siècle de Louis XV. Paris, 1953, p. 12.

<sup>11</sup> P. Lafue. Louis XV ou la victoire de l'unité monarchique. Paris, 1952; J. Lévrion. Louis le bien-aimé. Paris, 1965; R. Monnier. La France de Louis XV. — «Histoire de France», t. 2. Paris, 1968, p. 3—70.

влекла за собой и «реабилитацию» кардинала Флери — сторонники этой версии с легким сердцем готовы были вознести и короля и кардинала на самый высокий пьедестал истории. «Они оба трудились сообща на благо государства», — утверждал Леврон<sup>12</sup>.

Однако эти новейшие исторические конструкции, покоящиеся на крайне шатких основаниях, вряд ли кого могут убедить. Все важнейшие источники, известные историкам, свидетельствуют против них. Само собой разумеется, это не значит, что можно игнорировать заслуживающие внимания факты социальной истории Франции XVIII в. Так, например, нельзя отрицать значения роста народонаселения страны. Но представляется очевидным, что эти долговременные процессы, которые Пьер Губер был склонен называть «демографической революцией»<sup>13</sup>, объяснялись, конечно, не столько административными способностями Флери или Людовика XV (если бы таковые у них даже были), сколько действием более важных факторов: прекращением в XVIII в. эпидемии чумы, снижением детской смертности, постепенным улучшением обработки земли, совершенствованием сельскохозяйственной техники и пр. В равной мере такие, скажем, процессы, как снижение цен на пшеницу и другое зерно с 1726 по 1737 г. также не могут быть отнесены за счет талантов кардинала де Флери, хотя бы потому, что сходные явления наблюдались и позже, когда кости кардинала уже покоились (ко всемобщему облегчению) в сырой земле<sup>14</sup>.

Верно лишь то, что первые годы громогласно возвещенного начала царствования короля Людовика XV, т. е. с 1726 г., породили известные иллюзии. Большинство подданных короля, далеких от Версальского договора и не посвященных в его тайны, видело лишь возвышавшуюся над всей страной статную фигуру молодого короля, и потому по воспринятыму с молоком матери традиционному преклонению перед монархом, ожидало от него только блага, только добра и мудрости. Полусогнутого же в почтительном поклоне черного силуэта кардинала де Флери современники, чуждые двору, не замечали вовсе, либо не придавали ему значения; в нем видели лишь одного из смиренных слуг короля.

С смерти Людовика XIV, точнее с Раштатского мирного договора 1714 г., на протяжении 20 лет, до войны с Австрией за польское наследство в 1733 г., подданные Людовика XV пользовались непривычными, казавшимися почти неправдоподобными благами мира. После почти непрерывных войн предшествующего царствования установленный на два десятилетия мир казался французам великим счастьем. Людей не разоряли и не убивали непрерывно — право, было за что возносить хвалу мудрому молодому королю!

Но время шло, и все постепенно становилось на свое место. Люди, ближе знакомые с действительным положением дел в королевстве, с внутренней жизнью двора, убеждались в том, что для иллюзий, даже для сколько-нибудь благоприятной оценки настоящего и будущего, нет никаких оснований. Молодой король, после падения герцога Бурбонского сгоряча заявивший, что отныне сам будет своим первым министром, вскоре же охладел к государственным делам, и постепенно, все в большей мере, стал передоверять их своему бывшему наставнику. Кардинал де Флери намеренно уклонялся от официального звания министра, как и вообще от официальных почестей. Как только появлялся король, он немедленно стушевывался, склонялся перед ним и превращался в его подвижную, зыбкую, колеблющуюся тень. Злые языки (конечно, шепотом и оглядываясь по сторонам) утверждали, что в присутствии короля кардинал даже становился ниже ростом.

Из «любви» к своему августейшему воспитаннику, ставшему его повелителем, кардинал де Флери скрепя сердце брал на себя добровольное бремя и тяготы государственных дел. Постепенно, незаметно он почти полностью освободил монарха от всех докучливых забот. Флери не забыл проявленных королевой чувств к его особе. Соблюдая внешне величайшую почтительность к королеве, смиренно склоняясь перед ней, кардинал в то же время весьма старательно (хотя, понятно, в самой пристойной и достаточно затмненной форме) подсказывал королю, как можно в некоторых случаях обходиться без королевы. Монарх оказался весьма восприимчивым к намекам этого

<sup>12</sup> J. Levrone. Op. cit., p. 95.

<sup>13</sup> «Histoire économique et sociale de la France», t. II. Paris, 1970, p. 55—84.

<sup>14</sup> «Le prix du froment en France 1726—1813». Paris, 1970, p. 9—10.

рода; он понял все с полуслова. В скором времени внимание молодого короля, развлекавшегося до сих пор преимущественно охотой, было привлечено к молодым дамам, готовым разделить с монархом риск любых походов. Так на страницах летописей царствования короля Людовика XV появляются имена его метресс: мадам де Мельи, затем ее младшей сестры мадам де Вентимиль и, наконец, третьей сестры — мадам де Турнелль, сообразившей, что ей удобнее одной пользоваться вниманием своего августейшего поклонника, не разделяя его со своими сестрами. Находчивость эта была должным образом, вознаграждена: Мари Анне де ла Турнелль было пожаловано герцогство Шатору (с рентой в 80 тыс. ливров) в возмещение, как было объявлено, за ее преданность королеве<sup>15</sup>. После Людовика XIV и регента герцога Орлеанского французский высший свет, т. е. придворное окружение, трудно было уже чем-либо удивить, и знатные вельможи почтительно склонялись в низком поклоне перед герцогиней де Шатору, мановение которой значило многое больше пространых докладов министров его величества.

В то время как «божьей милостью король французский» проводил свои досуги в ночных кутежах в Рамбуйе, Шуази или дальних охотничьих замках, кардинал де Флери в тихом, почти монашеском уединении неторопливо, методично ткал паутину, опутывавшую почти все королевство. Кардинал был стар и слаб и, чтобы осуществлять задуманное, ему нужны были преданные, ретивые помощники. Его опорой стали иезуиты. Он правил страной, опираясь не только или не столько на бюрократический аппарат монархии, сколько на тайную, незримую власть иезуитов. В годы правления кардинала иезуиты вновь обрели огромную силу. В королевском дворце, в покоях королевы, на веселых пирушках знати и офицеров бесшумно прятались, передвигались за портьерами черные тени.

Но иезуиты не стали бы служить кардиналу только за его набожность: они ничего не делали даром. И Флери платил им, делясь с ними частично властью и проводя политику, полностью отвечающую их интересам, — политику религиозной нетерпимости. Тайная полиция и иезуиты — то были две руки черного правительства Флери, руки с цепкими щупальцами, протягивавшиеся во все уголки королевства. Кто мог от них укрыться? Мог ли кто устоять против этого сатанинского союза, прикрывавшегося божиим именем?

Так после Декарта и Пьера Бейля французское общество вновь оказалось отброшенным чуть ли не ко временам Варфоломеевской ночи. Непрерывные конфликты с парижским парламентом, преследования янсенистов, незаконные аресты, скандальные процессы, полицейская слежка, ложные доносы, подметные письма, фальшивые свидетельства, клятвопреступления — все пускалось в ход в повседневной, будничной практике слуг отрещенного от мирских забот, посвятившего себя господу богу кардинала де Флери. Всесело поглощенный ни на мгновенье не затихавшей борьбой против своих действительных или мнимых противников, кардинал менее всего думал о положении подданных короля. Крестьяне, составлявшие подавляющее большинство населения, были полностью отданы во власть сенаторов, откупщиков и интендантов, высасывавших из них все соки и доведших крестьян до полного разорения и нищеты.

Новейшие сторонники возвеличивания Людовика XV и Флери охотно ставят в заслугу кардиналу его бережливость, рачительность, его заботы о богатстве страны. Он и в самом деле заботился о богатстве — только не страны, а своей котерии и узкой группы финансовых дельцов, главных откупщиков, крупных арматоров и негоциантов. С эпохи Регентства и правления герцога Бурбонского денежная буржуазия продолжала быстро набирать силу. Маркиза де При, «божья мать» финансистов, изгнанная из столицы, наложила на себя руки, но денежные тузы при набожном кардинале и вездесущих ушах иезуитов продолжали накапливать богатство еще быстрее, чем раньше. Наверно, им приходилось делиться какой-то частью доходов, но они уже к этому привыкли: могло ли быть иначе? Все шло своим чередом: деньги прокладывали путь к дворянскому званию и титулам. Титулованная знать, принимая в свои ряды благодателей богатства, требовала за свою снисходительность какую-то его долю.

А простой народ, разоряемый и монархией, и церковью, и дворянством, и буржуа-откупщиками, был доведен до предельной степени нищеты. Маркиз д'Арженсон в фев-

<sup>15</sup> J. Levgon. Op. cit., p. 155.

рале 1739 г. констатировал, что за время правления Флери «нищета повсюду достигла небывалых размеров. В момент, когда я пишу, в условиях мира, если не изобильного, то вполне приличного урожая, люди вокруг нас мрут как мухи от бедности и вынуждены питаться травой. Провинции Мен, Ангмуа, Турень, верхнее Пуату, Перигор, Орлеан, Берри находятся в самом тяжелом положении»<sup>16</sup>. По чьей вине это происходило? Д'Арженсон не дает прямого ответа, но указывает, что финансисты-откупщики и интенданты разоряют страну, а правительство этому потворствует. «С королевством обращаются, как со вражеской страной, обложенной контрибуцией»<sup>17</sup>.

В окружении кардинала все сообщения о бедственном положении страны, о голодающих крестьянах воспринимались как злостные измышления противников правительства, хотя Людовик XV был осведомлен о трагическом положении голодающих крестьян. Епископ Шартрский в ответ на вопрос короля о положении в его епархии отвечал, что там «царит голод и смертность, что люди, как овцы, стали травоядными и что вскоре всех поразит чума». О страданиях и бедствиях простого народа королю почтительно докладывали герцог Орлеанский, герцог и герцогиня Рошешуар, Тюрго и многие другие. Впрочем, королю пришлось и лично в том убедиться. В один из воскресных дней сентября 1739 г. королевский кортеж, следовавший через Исси, был остановлен и окружён большой толпой. Люди не кричали, как ранее, «Да здравствует король!», а выкрикивали: «Горе! Голод! Хлеба! Дайте хлеба!»<sup>18</sup>.

В 1739, 1740, 1741 гг. цены на зерно и, соответственно, на хлеб резко выросли более чем на одну треть<sup>19</sup>. Скупщики, крупные землевладельцы наживали на этом повышении цен огромные деньги. Крестьяне, в особенности сельская и городская беднота, обреченные на голод, испытывали величайшие страдания. В ноябре 1740 г. д'Арженсон снова записал: «Число нищих скоро превысит число лиц, могущих жить, не прося подаяния». Он отметил, что в Шательро, например, на 4 тыс. душ городского населения приходится 1800 неимущих, и заключил: «Несомненно, что за последние два года погибло больше французов от голода, чем их было убито за все войны Людовика XIV»<sup>20</sup>.

В ночные и даже вечерние часы на улицы Парижа было рискованно выходить. С наступлением темноты из всех щелей города, из подвалов, из подворотен, выходили неведомые, страшные люди, заросшие широкими бородами, скрывающими черты лица, нередко в масках, вооруженные до зубов. Кто они? Откуда? Этого никто не знал; полиция предпочитала с ними не встречаться; все остальные их боялись, их даже опасались называть разбойниками — то были властители ночного Парижа. На проезжих дорогах королевства ездить было так же опасно, как по ночным улицам столицы. Вельможи в экипажах проносились под защитой эскорта вооруженной охраны. Отовсюду поступали тревожные вести о дерзких налетах шаек разбойников. Путники, засветло проезжавшие по лесным дорогам, с тревогой всматривались в лесную чащу: за деревьями — или это только мерещилось? — бесшумно скользили какие-то тени. Кто были эти таинственные разбойники? Позже, в начале 50-х годов, у всех на устах было имя «благородного разбойника» Луи Мандрена, внушавшего страх всем дворянским усадьбам<sup>21</sup>. Но и предшественники Мандрена — «разбойники» 40-х годов — были те же простые, бедные люди, крестьянская беднота, доведенная голодом, нуждой, отчаянием до необходимости браться за оружие.

Что же будет дальше? Короля тревожные вести, поступавшие со всех концов королевства, мало трогали. Король веселился. Кутежи, охоты, маскарады, балы, феерические представления. Королевские метресссы были изобретательны на развлечения, и монарх охотно следовал за ними во всех выдумках, подсказанных их необузданной фантазией. Страна была разорена, народ голодал, люди бедствовали, а королевский двор продолжал веселиться. Людовику XV приписывали ставшее знаменитым изречение: «На наш век хватит! После нас — хоть потоп».

<sup>16</sup> «Mémoires du marquis d'Argenson...», p. 322.

<sup>17</sup> Ibid., p. 323.

<sup>18</sup> Ibid., p. 324, 325.

<sup>19</sup> «Le prix du froment en France 1726—1813», p. 9.

<sup>20</sup> «Mémoires du marquis d'Argenson...», p. 92.

<sup>21</sup> Л. С. Г о р д о н. Тема «благородного разбойника» Мандрена в идейной жизни предреволюционной Франции.— «Век просвещения». Сб. статей. М., 1970, стр. 60—82.

Но опытные люди, лучше осведомленные о действительном положении королевства, опасливо озираясь по сторонам, вполголоса спрашивали: а если века не хватит? Если потоп хлынет раньше? Что тогда? В июле 1743 г. д'Арженсон писал: «В таком государстве революция вполне вероятна»; он задумывался над тем, куда бежать из страны<sup>22</sup>. Так думал не он один. Мадам де Тенсен, жена кардинала де Тенсен, пытавшегося, хотя и без успеха, заместить де Флери, примерно в то же время писала: «Если нам не поможет сам бог, то невозможно, чтобы государство не рухнуло»<sup>23</sup>.

Наступало тревожное время: страна шла навстречу потрясениям; сомневаться в том не приходилось. Но когда наступит это время больших перемен? Когда прокричит петух, возвещая приближение рассвета? Этого никто точно определить не мог.

Из всех посетителей салонов великосветских парижских дам молчаливый Руссо был одним из немногих, а может быть, и единственным, кто знал не из книг и не по рассказам важных господ, а по собственным наблюдениям за время долгих скитаний по дорогам и проселкам Франции, как живут крестьяне, простые люди, все незнатные подданные короля.

Приезжий из провинции был сдержан и не вступал в откровенные разговоры. Но его собеседники — люди неглупые, умевшие скрывать за непринужденной светской болтовней внутреннее беспокойство перед неясным завтрашним днем, — чувствовали: этот не слишком разговорчивый молодой человек знает что-то такое, чего они — многоопытные, бывалые люди — не знают. Руссо и в самом деле знал то, о чем эти важные господа не догадывались. Они были так погружены в повседневное светское щебетание, мелкие дворцовые интриги, столкновения соперничающих честолюбий, мелочные пересуды, что давно разучились слышать голос страны.

Руссо по самой своей натуре был человеком с тонким, все воспринимающим слухом. Он сумел расслышать в многоголосной полифонии эпохи ведущий и все нарастающий лейтмотив — близящееся грозное возмущение народа, подспудный гул приближающегося революционного взрыва огромной силы.

Бескомпромиссная непримиримость молодого Руссо к сильным мира сего, к дворцовой челяди — «придворной клике», к спесивым аристократам, презренным богачам, надменным князьям церкви, его убежденный демократизм и республиканизм шли не столько от книг, сколько от собственного жизненного опыта, от всего, что, как мы уже отмечали, он видел и слышал. Он знал, что в этом «королевстве кривых зеркал» нет ни справедливости, ни правды.

Секрет успеха Руссо в парижских гостиных 1742—1743 гг. заключался прежде всего в непохожести молодого музыканта на всех остальных завсегдатаев этих салонов. При самых различных мнениях о нем, в этом немногословном молодом человеке скорее почувствовали, чем осознали что-то новое и, может быть, даже значительное.

Прошло семь лет.

Жан Жак Руссо по-прежнему оставался обитателем Парижа, частым гостем литературных салонов и великосветских вечеров, оригиналом, чудаковатым увальнем, которому, впрочем, охотно прощали все его неловкости. Правда, его теперь трудно было уже называть молодым человеком: в 35—36 лет молодость сменяется зрелостью. Но Руссо и в зрелом возрасте еще не приобрел ни положения, ни соответствующей годам солидности. Его преследовали неудачи.

Стараниями покровительствовавших ему дам, и прежде всего баронессы де Безанваль, ему было выхлопотано место секретаря французского посольства в Венеции. Полагали, что этот пост открывает Руссо путь к дипломатической карьере, предоставляет ему возможность раскрыть таящиеся в нем таланты, а в них его покровительницы были уверены. Кто знает, может быть, первый скромный официальный пост будет лишь началом блестательной государственной деятельности? Разделял ли Руссо эти иллюзии? Ответить на этот вопрос не так просто. Он любил путешествовать; у него была склонность к перемене мест; к тому же перед ним открывался совершенно новый, неизведанный путь: дипломатия — это звучало многообещающе; может быть, он связывал с ней и какие-то надежды, ведь у него была привычка фантазировать.

<sup>22</sup> «Mémoires du marquis d'Argenson...», р. 83.

<sup>23</sup> Цит. по: Ф. Рокен. Движение общественной мысли Франции в XVIII в. Перев. с франц. СПб., 1902, стр. 123.

Во всяком случае, по прибытии в Венецию Жан Жак Руссо взялся за дело с рвением. Посол французского короля граф де Монте́ги, капитан гвардии, человек взваломшный и своюенравный, отнюдь не хотел утруждать себя многочисленными вопросами и заботами, возникшими каждодневно, и передоверил ему практическое руководство делами посольства. Первоначально все шло хорошо. Секретарь посольства все более входил во вкус своей многообразной и казавшейся ему интересной работы. «Я прилагал все усилия к тому, чтобы поддерживать полный порядок и быть совершенно точным во всем, что относилось к моим главным обязанностям», — писал позднее Руссо в «Исповеди», честосердечно признаваясь, что для него это было нелегко<sup>24</sup>. Он, по-видимому, достиг столь значительных успехов на своем посту, завоевав уважение и расположение венецианских властей, что с какого-то времени послу это перестало нравиться. Между послом и секретарем посольства возникли трения. Граф де Монте́ги, не привыкший стесняться в выражениях, стал высказывать весьма ясно неудовольствие чрезмерным усердием своего подчиненного, а тот с детства обладал строптивым характером и не имел ни малейшей склонности идти навстречу неразумным пожеланиям своего шефа. Конфликт разрастался и вскоре принял острые формы. После неожиданно вспыхнувшей бурной сцены Руссо, хлопнув дверью, навсегда оставил здание французского посольства в Венеции, второпях даже не успев получить причитавшегося ему жалованья.

Возвратившись в Париж, Руссо приложил немало усилий к тому, чтобы правдивым рассказом восстановить действительную историю своего конфликта с послом и добиться справедливого решения. Его письма к дю Тейлю, фактически управлявшему министерством иностранных дел осенью 1744 г., показывали, какое большое значение придавал Руссо оправданию своего образа действий в Венеции<sup>25</sup>. Все оказалось напрасным. Его принимали по-прежнему доброжелательно, ему сочувствовали, его одобряли и хвалили, но слова оставались только словами. Руссо не добился законного удовлетворения в споре с послом. В возмущении причитавшегося жалованья ему тоже отказали под предлогом, что он не француз, а иностранец и, следовательно, не может рассчитывать на покровительство Франции.

Это был тяжелый удар. В ту пору Руссо еще не освободился полностью от доверчивости, некоторой даже предрасположенности к иллюзиям, которые были так присущи ему в молодости. Справедливость, право, закон были на его стороне. В этом был убежден он сам, это подтверждали и все его друзья, возмущавшиеся не меньше, чем он. Правда, Руссо столкнулся и с иным. Баронесса де Безанваль, способствовавшая в свое время его назначению в Венецию, в конфликте между ним и послом безоговорочно встала на сторону Монте́ги, прежде всего потому, что тот был послом — старшим по чину и званию. Руссо написал ей язвительное, резкое письмо, вызвавшее разрыв отношений между ними: «Я ошибался, мадам... я должен был помнить, должен был чувствовать, что мне — иностранцу и плебею — не подобает выступать против дворянина»<sup>26</sup>.

После смерти отца Жан Жаку досталась, не без хлопот, какая-то доля наследства. Она не была велика, но дала возможность некоторое время жить, не думая о том, как заработать деньги на обед. Обретя независимость, Руссо решил всецело посвятить себя музыке. В ту пору ему казалось, что музыкальное творчество и есть его истинное призвание. У него была уже некоторая известность в Париже. За ним упрочилась репутация способного музыканта, одаренного композитора. Его друзья, а друзей в ту пору у Руссо было много, считали, что Жан Жак на пороге решающих успехов. Его музыкально-литературные произведения были благосклонно приняты не только в мире искусства (их похваливал знаменитый в ту пору Мариво), но и среди великосветских ценителей изящного. Он возобновил работу над оперой «Галантные музы», начатой еще до поездки в Венецию, и за несколько месяцев сумел ее завершить. Но как добиться постановки нового произведения на сцене театра? Это оказалось труднее, чем написать оперу.

Друзья вводят Руссо в новые парижские салоны: в дом де ла Поплиньера — главного откупщика, одного из крупнейших богачей, владельца особняка, мецената, поддерживавшего Рамо — в ту пору самого авторитетного и избалованного корифея французской музыки. Жан Жаку претит это общество, его отталкивает и выставленное на

<sup>24</sup> Ж. Ж. Руссо. Избранные сочинения в трех томах, т. III. М., 1961, стр. 265.

<sup>25</sup> «Correspondance générale de J. J. Rousseau» (далее — «Corr. gén.»), т. I. Paris, № 85, 86, 89, 90.

<sup>26</sup> «Corr. gén.», т. I, № 92; подлинность этого письма бралась под сомнение.

показ богатство. Но жизнь приучила его к необходимости скрывать до поры до времени свои чувства. В гостиной Поплиньеов он смиленно выслушивает барственю небрежные наставления Рамо; время еще не пришло обнажать шпагу, вступать со знаменитым композитором в открытую борьбу.

Все же посещения салона Поплиньеов не прошли бесследно. Мадам де ла Поплинье, вероятнее всего невольно, заинтересовала оперой Руссо герцога де Ришелье. Тот настоял, чтобы «Галантные музы» были поставлены за счет короля, по всем правилам — с певцами, оркестром, хором, на одной из придворных сцен. Исполнение оперы Руссо привело герцога Ришелье в восхищение. Сам Руссо признавал позднее, что опера была написана очень неровно, что в ней имелось немало слабых мест. Так оно, видимо, и было: произведение это не удержалось в репертуаре французской оперной музыки. Но в «Галантных музах» была своя прелест: ее легкая, беззаботная, веселая музыка отражала оптимизм молодости, присущий в ту пору творчеству Руссо.

В Париже ничто не остается неизвестным. Весть о шумном успехе «Галантных муз» Жан Жака Руссо, исполненных для герцога де Ришелье, через день обсуждалась во всех салонах столицы. Особенно довольны были многие дамы. Этот успех подтверждал их проницательность; ведь это они первые открыли талант молодого композитора из Женевы. Руссо стал получать предложения, казавшиеся ему интересными. Вольтер прислал ему письмо, написанное в самых лестных выражениях: «Вы соединяете в одном лице два таланта, до сих пор остававшиеся всегда разделенными. Это дает мне дважды основание высоко оценить Вас и полюбить»<sup>27</sup>. Он просил Руссо взять на себя исправление и редактирование оперы «Празднества Рамиры», которую в свое время написал вместе с Рамо. Польщенный этой просьбой Вольтера, Жан Жак, отбросив в сторону заботы об исполнении «Галантных муз», взялся за нелегкий труд приведения в порядок оперы Вольтера и Рамо. Но когда работа была завершена, она не принесла Жан Жаку ничего кроме огорчений. Когда, наконец, оперу поставили на королевской сцене, в либретто, раздаваемых зрителям, имя Руссо даже не упоминалось.

Столь же напрасными и бесцельными оказались и огромные усилия, бессонные ночи, радостные ожидания, связанные с работой над «Галантными музами». Это талантливое литературно-музыкальное произведение все одобряли, все хвалили, все восхищались им... а опера все-таки не шла. Та же участь постигла и другую оперу Руссо — «Нарцисс». Итальянский театр в Париже принял, после долгих хлопот, его произведение к постановке. Принял, но не поставил. Единственным вознаграждением, полученным автором за свои труды, было право бесплатного посещения Итальянского театра.

За семь лет, истекших с 1743 г., положение Жан Жака Руссо в Париже мало изменилось. Он был по-прежнему желанным гостем в лучших гостиных Парижа. Дамы к нему по-прежнему благоволили. Изменилось не положение Руссо в обществе: за прошедшие семь лет изменился он сам. Эти следующие одно за другим поражения (на дипломатическом поприще в Венеции, в поисках справедливого решения в конфликте с Монтиго в Париже, в тщетных усилиях поставить «Галантные музы» на сцене Версала или Парижа, в неудаче с постановкой «Нарцисса» в Итальянском театре, в бесцеремонном пренебрежении его трудом над оперой Вольтера и Рамо) не прошли для него бесследно, они многому его научили.

В творческой биографии Руссо заслуживает внимания та необъясненная до сих пор пауза, которая наступает после 1741—1742 гг. В эти годы были созданы два больших произведения гражданственной поэзии: «Послание к Борду», «Послание к Паризу». А затем — перерыв, и длится он не месяц, не два, а годы. Это не пауза в творчестве Руссо вообще: он пишет в последующие годы сочинения по вопросам теории музыки, создает музыкальные произведения, весь стихотворный (дважды переработанный) текст оперы «Галантные музы», в 1743 г. сочиняет пьесу «Военнопленные»<sup>28</sup> (сю оно остается сам неудовлетворен и тщательно прячет от посторонних взоров). Затем

<sup>27</sup> «Corr. gén.», t. I, № 98.

<sup>28</sup> Она была впервые опубликована уже после смерти Руссо, в 1782 г. На русском языке была напечатана в первый раз в: Ж. Ж. Руссо. Указ. соч., т. I, стр. 415—434.

работает над комедией в трех актах (и тоже в стихах) «Смелая затея», о которой сам в «Предуведомлении» писал: «Эта пьеса — из самых банальных». Словом, это годы напряженной творческой работы. Но при всем многообразии тем и сюжетов, разрабатываемых Руссо, гражданская тематика полностью исключена.

Чем это объяснить? Переписка Руссо тех лет также не дает ответа на такой вопрос. «В конце концов много проектов, мало надежд», — писал он в 1745 г. в одном из писем к госпоже де Варанс<sup>29</sup>. Эти несколько слов передают горечь его чувств, но не более. Вероятнее всего эту затянувшуюся паузу в тематике, к которой Руссо тяготел всю жизнь, следует объяснить именно теми сомнениями, колебаниями, которые испытывал в первые годы по приезде в Париж робкий приезжий из глухой провинции.

Руссо приглядывался, прислушивался, наблюдал. Он был в какой-то мере естествоиспытатель: не торопился, не спешил. К тому же в начале ему со всех сторон так легко и охотно давали обещания; все были так добры, так щедры на, казалось бы, искренние слова одобрения, что как не закружиться непривычной к похвалам голове.

Но время шло, и Жан Жак стал все отчетливее, яснее замечать то, что рождало раньше какие-то мимолетные, смутные впечатления. Он начинал постигать истинную цену и слов, и улыбок, и обещаний. Жан Жак уже знал: если ему в глаза, дружески улыбаясь, даже притрагиваясь холеными белыми пальцами к его костюму, говорят, что пьеса хороша, что ею зачитываются до поздней ночи, что собеседник обязательно переговорит с влиятельным, очень влиятельным лицом (это лицо столь значительно, что даже имя его не произносится), то всему сказанному не следует верить, не следует придавать ни малейшего значения. Хорошо еще, если этот столь дружественно настроенный собеседник не примет действенных мер, чтобы помешать успеху пьесы Руссо.

Все было ложью, обманом. Иллюзии рассеялись. Чем дольше Жан Жак оставался в этом избранном обществе столицы французского королевства, в так называемом высшем свете Парижа, тем яснее, отчетливее осознавал он, сколь обоснованы, сколь справедливы были то недоверие и интуитивная вражда, которые он испытывал к этой знati богатства, впервые вступая в парижские салоны. Да, он постепенно постиг, что этот столь блестящий, столь нарядный, кажущийся издали столь привлекательным мир изнутри весь изъеден черным соперничеством честолюбий, завистью, тайной взаимной борьбой, скрытыми подвохами, кознями, обманом.

Он знал, что в этом обществе острословов, бравирующим своей показной независимостью, афиширующим фронтендерство к официальным властям, щедром на булавочные уколы двору (не достигающие цели и потому вполне безопасные), что в этом собрании самых блестящих умов, хвастающихся смелостью суждений, постоянно тайно оглядываются на незримый двор, прислушиваются ко всем сплетням, исходящим из будара мадам де Помпадур, соразмеряют силу влияния тех или иных ее клеветников. Это общество «независимых умов» было в действительности сборищем дельцов и карьеристов, прячущих под внешней куртуазностью и дружелюбной улыбкой холодный расчет, злые тайные умысли, беспощадность к своим соперникам и конкурентам. Дамы света были под стать своим мужьям и любовникам. Перечтите письма, посланные Сен-Пре из Парижа Жюли: «Хорошеньким женщинам неугодно сердиться, поэтому их никто и не сердит; они любят посмеяться, а над преступлениями нельзя подшутить, поэтому мошенники, подобно всем — люди порядочные»<sup>30</sup>.

В этой трудной жизни в Париже у Жан Жака были и друзья, которым со своей жизнью ему в ту пору доверчивостью он мог открывать душу; с ними он легко находил общий язык; сходство, а порою и противоположность взглядов не мешали оживленному, всегда дружественному обмену мнений. Самым близким для него человеком был молодой испанец, увлеченный постижением тайн науки, Игнасио Эммануил де Альтуна. Они спорили почти по всем вопросам, возникающим в ходе беседы; их мнения почти ни в чем не совпадали, но ни к кому другому из своих парижских друзей Жан Жак не питал такой симпатии, такой привязанности, как к де Альтуне. У них был даже план поселиться навеки вместе. Но Альтуна уехал ненадолго (у него была семья) и не вернулся: вскоре после отъезда он умер. Руссо в ту пору встречался и дружил и с теми молодыми людьми, с которыми его сближала идейная близость. Как и он, то были

<sup>29</sup> «Cogg. gén.», t. I, p. 266.

<sup>30</sup> Ж. Ж. Руссо. Указ. соч., [т. II, стр. 203].

люди, выступавшие — кто смелее, кто осторожнее — с критикой существовавших порядков. Одни выражали ее в беседах достаточно открыто; другие предпочитали излагать свои мысли на трудно понятном для многих мудреном языке философических сочинений, нередко в затемненной или иносказательной форме, чтобы не навлечь на себя преследования властей. Среди этих людей, в какой-то мере единомышленников Руссо (им всем не очень-то нравился существовавший порядок вещей), были Дени Дидро, Кондильяк, его брат аббат Габриэль де Мабли, Фонтенель, Мелхиор Гримм, Дюкло и др.

Ближе всего Руссо в ту пору сошелся с Дидро: они были почти ровесниками; в их биографии имелись некоторые сходные черты: сын ножовщика из маленького городка Лангра был также выходцем из народа. В Париже ему жилось нелегко: он с трудом зарабатывал на скучное пропитание переводами с английского, к тому же рано женился на бедной дочери белошвейки, и расходы еще более возросли. Но он уже приобрел некоторую известность в передовых литературных кругах Парижа; его «Философические письма» произвели большое впечатление; Дидро уже считали, и с должным основанием, одним из выдающихся представителей младшего поколения «просветителей». Руссо с его доверчивой, увлекающейся натурой был в ту пору очень привязан к Дидро, считал его самым близким другом. Когда Дидро за не понравившееся властям личными намеками «Письмо о слепых в назидание зрячим» заключили в Венсенский замок, Руссо воспринял это как личное несчастье. Он написал взволнованное письмо мадам де Помпадур, умоляя ее изменить участь своего друга; он ходил пешком — через весь Париж и его окраины — в Венсенский замок, чтобы павещать Дидро, когда ему разрешили свидания. Дидро — насколько можно судить по встречающимся в его литературном наследии упоминаниям о Руссо — относился к своему другу сдержаннее, спокойнее: в его отзывах о Жан Жаке нет и тени той восторженности и пылкости чувств, которая явственно ощущается у будущего автора «Новой Элоизы». Тем не менее в то время, в 40-х годах, их соединяла еще тесная дружба и общность в главном — идейных позициях.

Руссо дружил в ту пору также с Кондильяком, пребывавшим еще в такой же неизвестности, как и он сам, и испытывавшим частично сходные с ним жизненные затруднения. Кондильяк в те годы сосредоточил все свои усилия на завершении начатого им труда «Опыт о происхождении человеческих знаний». Эта тема интересовала и Жан Жака, она могла быть предметом длительных оживленных споров и обменов мнениями. По воскресеньям молодые друзья (Кондильяк был лишь немногим моложе Руссо) обедали вместе — «вскладчину», как сообщает Жан Жак. Руссо познакомил Кондильяка с Дидро, а тот, в свою очередь, свел их с Жаном Д'Аламбером. Так сложилось это содружество молодых людей, во многом разных, непохожих друг на друга, но объединяемых не только возрастной близостью, но, главное, тем, что всем им не нравился окружавший их мир, вернее его политические институты и общественные порядки. Но как сделать этот мир лучше? Как изменить его?

У молодых людей не было еще ни сложившихся идей, ни оформленного плана. Первоначально у Руссо возникла поддержанная Дидро мысль об издании периодического листка под названием «Зубоскал». Да, у них был еще избыток молодости и готовности смеяться! Почему бы не высмеять пороки и уродливые черты этого мира спесивых ничтожеств? Почему бы не бороться с противником разящим оружием смеха? Дидро рассказал об этом плане Д'Аламберу, но по причинам, оставшимся невыясненными, из замысла ничего не получилось. Но зато родилось иное.

По идее Дидро и Д'Аламбера было предпринято составление и издание «Энциклопедического словаря». Первоначально план был скромным — что-то вроде перевода известного в ту пору словаря Чемберса, выпуск в свет которого готов был взять на себя книгоиздатель Лебретон. Но в ходе обдумывания проекта издания Дидро и Д'Аламбер — и это составило их непреходящую заслугу — замыслили нечто принципиально иное. Они решили издать многотомную «Энциклопедию наук и ремесел» — универсальный свод передовых знаний своего века, издание единое и целостное по своим идейным принципам. Авторами этого грандиозного коллективного издания должны были стать литераторы, во многом различные по личным вкусам и пристрастиям, по манере письма, но отвечающие главному, определяющему требованию: сотрудниками «Энциклопедии» должны были быть противники феодальных порядков и догматов, феодальной идеоло-

гии<sup>31</sup>. «Энциклопедия» Д'Аламбера и Дидро должна была быть — и стала на деле! — первым программным выражением нового, передового мировоззрения третьего сословия, шедшего на смену изжившему себя, но цепко удерживавшему власть феодально-абсолютистскому строю. В этих толстых, медленно выходивших в свет томах были заключены заряды огромной революционной силы. То был самый действенный, самый эффективный обстрел идеологических позиций старого мира. «Энциклопедия» XVIII в. сыграла еще одну важную роль. Она стала первой широкой идеальной платформой, объединившей, пусть на время, все направления, все оттенки антифеодальной, просветительской мысли. «Энциклопедия» на какой-то период способствовала созданию, говоря терминами наших дней (незаконность которых в применении к той эпохе я признаю), единого фронта всех представителей просветительской мысли против феодализма, его институтов, его установлений, его морали и догм. В идеологической подготовке Великой французской буржуазной революции XVIII в. роль «Энциклопедии» была огромной.

Д'Аламбер и Дидро были главными организаторами и редакторами «Энциклопедии». Они предложили участвовать в этом издании и Жан Жаку Руссо — их другу и единомышленнику. Но Руссо отвели в «Энциклопедии» отдел музыки, и большая часть статей, написанных им для этого издания, относится к музыке. Однако его участие в «Энциклопедии» имело и более общее, принципиальное значение. Жан Жак Руссо как бы вошел в ту цепь стрелков, которые дружными рядами вели прицельный огонь по боевым позициям враждебного старого мира. Он тоже стал одним из «энциклопедистов», как скоро стали называть участников этого храброго боевого отряда, смеловязавшего бой на всех участках сражения с силами старого мира.

Участие в «Энциклопедии», дружба с Дидро, Кондильяком, Д'Аламбером, передовыми людьми своего времени, оказала определенное влияние на созревание, на «кристаллизацию», как говорил по другому поводу Стендаль, идейных воззрений Руссо.

Жан Жак Руссо прошел в 40-е годы через трудную школу разочарований; на личном многолетнем опыте пребывания в парижском свете он познал то, о чем прежде мог только догадываться. Из сказанного ранее видно: то не было разочарование в человеческом роде вообще. Отнюдь: его критика этих лет имеет резко очерченную направленность. Личные наблюдения, собственный жизненный опыт убедили Жан Жака в том, что этот замкнутый, недоступный посторонним мир богатых и знатных, в который он вошел, еще хуже, чем он предполагал раньше, когда видел его издалека, извне.

В «Исповеди» Руссо рассказал, что он упорно отказывался от многократных приглашений посетить салон барона Гольбаха. Посредником был Дидро; у Гольбаха встречались многие их общие друзья. Но Жан Жак не мог преодолеть испытываемого им отвращения к дому барона. Однажды Гольбах спросил его прямо о причине постоянных отказов. «Вы слишком богаты», — ответил Руссо. И это была правда. Отвращение к богатству за годы пребывания в Париже у Жан Жака не убавилось, не притупилось, а, напротив, возросло и обострилось.

Во второй половине 40-х годов в творчестве Руссо вновь начинают звучать мотивы гражданственности. В пространном лирико-философском стихотворении «Аллея Сильвии» (1747 г.) обличение богатства, столь характерное для его ранних произведений, выступает в более общей, программно-декларативной форме:

«Тебе, презренный смертный, горе,  
Коль ты душой погряз в позоре  
И жаждой золота объят!  
Страдай же мукою жестокой  
От скверны, что в себе глубоко  
Твои сокровища таят»<sup>32</sup>.

Мысль о том, что «сокровища», «золото» — это скверна, а жажды золота — поэзона, так отчетливо формулированная в этом стихотворении, останется идеей, которой Руссо будет верен всю жизнь.

Здесь же Руссо высказывает и другую мысль, быть может, еще не полностью осознанную, но присущую ему и раньше:

<sup>31</sup> J. Rousset. Diderot et l'Encyclopedie. Paris, 1962.

<sup>32</sup> Ж. Ж. Руссо. Указ. соч., т. I, стр. 326 (перевод М. Н. Замаховской).

«Ведь мудрому немного надо.  
И скучным благам сердце радо,—  
Они желанье утолят»<sup>33</sup>.

Эти три строки, зная все последующие философско-политические трактаты Руссо, можно было бы принять за декларацию принципа добродетельности бедности, за эмбриональную форму идеи эгалитаризма, можно было бы найти в них и другие мысли. Но лучше остаться на почве строгих фактов. Идея, выраженная в трех строках «Аллеи Сильвии», заслуживает внимания. Ничего более добавлять не надо.

Двумя годами позже, в «Послании господину де л'Этан викарию Маркусси», которое обычно датируют 1749 г., Руссо дает уже развернутую критику всего парижского света. «Послание» — это гневное обличение Парижа; автору не терпится свести счеты с городом, вобравшим в себя все пороки, все недостатки, все ущербные черты современного общества. С начальных строк пространного стихотворения Руссо декларирует отвращение к Парижу.

«Бежать от страшного соседства,  
Которым нас дарит Париж».

И далее раскрывает его пороки:

«Париж — надменности обитель,  
Где попадает каждый житель  
Под власть мошенников таких,  
Что Франция боится их»<sup>34</sup>.

Это противопоставление Франции Парижу весьма характерно для мышления Руссо той поры. Сама Франция (за этим понятием подразумевается народ) прекрасна, добродетельна, чужда порокам и преступлениям, присущим столице. Зато в Париже все плохо, все вызывает негодование автора. Там честность — «лишь предмет издевки», там «шарлатанские уловки, высокомерный, наглый тон», там подавляют и преследуют истинные таланты, там «шавке суждено порою политиком известным стать».

«Париж, где паразит презренный  
Продаст научной мысли цвет  
У Фрин, Аспазий — за обед!  
Париж! Несчастлив, кто над Сеной  
Жить осужден»<sup>35</sup>.

Спасаясь бегством из Парижа, устремляясь к своему добруму другу, «в любезный, сердцу дом», автор надеется, что здесь он и найдет истинное успокоение: «мир обретем, давно знакомый, селян и домочадцев круг». Здесь вторично повторяется то же противопоставление. Порочному, хищническому, беспощадному и ничтожному Парижу противостоит в «лесах и долах» милый дом и милый круг селян и домочадцев. В сущности, это та же идея, которая была уже сформулирована в «Аллее Сильвии», но первый раз еще как бы мельком, в зародышевой форме. В «Послании к господину де л'Этан» она уже звучит во весь голос. Идея, противопоставляющая ущербному Парижу идеальный (и, добавим, идеализированный) мир «селян и домочадцев» становится с того времени одним из краеугольных камней всей системы общественно-политических взглядов Руссо.

Жан Жак Руссо конца 40-х годов был уже мало похож на того наивного, полного надежд и иллюзий молодого человека, который совсем недавно робко и неуверенно переступил порог салона госпожи Дюпен. Отрезвляющий опыт общения с элитой парижского «высшего света» научил его многому. К 1747—1749 гг. Руссо пришел уже к осознанно-критической оценке современного ему общества. В его идейном развитии был пройден важный этап. Он уже подошел вплотную к тем идеям, которые — отнюдь не как мгновенное «озарение», а как закономерный итог предшествующего пути — были сформулированы им в трактатах о влиянии наук и искусств и о происхождении неравенства, принесших их автору громкую известность.

<sup>33</sup> Там же.

<sup>34</sup> Там же.

<sup>35</sup> Там же.